

● «Мне кажется, что разделять мысли, чувства и впечатления с другими, есть одно из первых благ на свете».

МЕДЖИ

● ВОСКРЕСНОЕ ОБОЗРЕНИЕ



НЕЧТО О ПИСЬМЕ

Здравствуйте. Позвольте поздравить вас и пожелать вам Очень Приятного Воскресенья.

Как вы прожили эту неделю, как я ее прожил — этому нет названия. Но вместе мы прожили, оказывается, Неделю письма. Она заканчивается сегодня. Странное мероприятие, остающееся загадкой даже для Министерства связи. В прошлые годы робко высказывались совсем не робкое, а гигантское предположение, что «цель Недели — активизация переписки между гражданами», как это было в эпоху Возрождения и в век Просвещения, во времена посланий, эпистол и романов в письмах. «Я очень рада, что мы вздумали писать друг другу» — ах нет, это уже период упадка, когда о письмах отзывались, что их «пишут аптекари» и роман в письмах спустился из высшего круга к бедным людям (Достоевского). На этот год принята формула не такая романтическая и глобальная: «Неделя письма — своеобразный смотр работы почтовой связи». Действительно, в понедельник вечером я бросил открытку на почтамте, а во вторник утром она уже была доставлена на Большую Черкизовскую. Я хотел посвятить воскресное обозрение Некрасову или Достоевскому, или, может быть, им обоим, поскольку у них юбилей у обоих, и борьба за существование была равно изматывающей и драматичной, — и читая их переписку, в той же книжке увидел письмо Гончарова, в котором он просит Достоевского ответить — вычеркивать ли в «Маленьких картинках» рискованное описание священника-«ухаря»: «Если Вы завтра, во вторник, вечером бросите письмо в ящик, я получу его в среду утром до комитета (заседание в два часа) и исполню, что Вы скажете».

Теперь бы они, конечно, обсудили это по телефону.

Но по телефону всего не скажешь. По телефону можно говорить долго, но нельзя вклиниться в собеседника — он ускользает, да и себя не выскажешь, потому что оттенки интонации срезаются, как высокие и низкие частоты. А на письме можно передать любую тонкость, как лицом к лицу, и самого себя

слышишь лучше, чем в устной речи. И жаль, что в наше время, когда синтаксис усовершенствовался до невероятной изощренности (открытия лучших писателей стали достоянием любого грамотного человека), когда в длинных фразах больше динамики и напора, чем раньше было в коротких, а в скобках звучат вторые голоса, — это упражнение не привлекает больше культурных людей. Гончаров же, уговаривая Достоевского вычеркнуть «попа», развил заодно, не боясь почтовых задержек, целую эстетическую теорию. «Вы сами говорите, что «зарождается такой тип»: простите, если я позволю заметить здесь противоречие, если зарождается, то это еще не тип... Творчество (я разумею творчество объективного художника, как Вы, например) может являться только тогда, по моему мнению, когда жизнь установится; с новой нарождающейся жизнью оно не ладит: для нее нужны другого рода таланты, например Щедрин. Вы священника изображали уже не без гнева: здесь художник уступил место публицисту». О себе Гончаров тут сказал все, но КОМУ сказал — человеку, написавшему уже «Идиота» и «Бесов», где в самом «отражении» жизнь никак не может установиться; человеку, в котором вечное не могло ждать ни минуты, который черпал из утловой хроники, «типизировал» катастрофы и «бездны», «всю жизнь за черту переходил».

А через три дня Гончаров писал уже ответ на ответ Достоевского, а третье письмо послал еще через четыре дня: такая у них прошла Неделя письма в их неторопливое время, не чета нашему стремительному. И все о «попе», уже вычеркнутом: «Вы говорите, что он не шарж и не выдумка, а снят Вами с действительности, как фотография. Может быть, в этом именно и заключается причина, что из него не вышло (на мой, впрочем, глаза) типа. Вы знаете, как большинство частей, в действительности мало бывает художественной правды — и как (это Вам лучше других известно) значение творчества именно тем и выражается, что ему приходится выделять из натуры те или дру-

гие черты и признаки, чтобы создавать правдоподобие, т. е. добиваться своей художественности, истины».

Так этот спор и продолжается по сей день (но уже не в форме личных писем), и совсем недавно, на дне рождения одного приятеля, я выслушал такую гончаровскую рацию, только на более прикладном уровне, где истина фигурировала без заботы, художественная она или еще какая. Застольный оратор полагал, что в этих-то отстоявшихся типах сама истина и заключена, и книга «типичного» есть книга законченная, потому что «правильная». Потомки будут ссылаться на нее как на документ. Сам он, потомок, ссылался, однако, на Достоевского с его оглушительными выдумками из самого себя — но он, возможно, был «прав», только правота его вместе с неправотой катилась по такому гладкому шоссе, утоптанному многократными повторениями, что мысли уже не за что было уцепиться. Гончаров оставался на своем месте, Достоевский — на своем, а наш оратор ораторствовал на общем, что действительно есть одно из первых благ на свете, потому что придает высказыванию округленную полноту.

Ничего нельзя сказать в пользу писем такого, чего нельзя было бы сказать об устной речи и прямом общении. Ничего нельзя сказать о частной переписке такого, что не относилось бы и к литературному творчеству. Были писемники, которые содержали готовые образцы изъяснений по любому поводу, — их не стало; есть литературные штампы, и даже не серые, а «яркие», позволяющие без драки попасть в большие заблуждения: имитировать мысль и чувство, поэзию и правду, — их разгадывают, над ними смеются, с ними борются; есть, однако, шаблоны и для разговоров, для умных бесед и беззаботной болтовни, много готовых слов и типовых оборотов, — бороться с ними некому, да и незачем. «Пусть говорят». Но ежеминутно нарождается новая жизнь, сбивая с толку требование новых слов.

Всего хорошего. Пишите.

А. АСАРКАН.